

Федор Федоров

Даугавпилский университет (Латвия)
fedor.fedorov@gmail.com.

Швейцарские томления поздней ледниковой эпохи

Разговор, начатый мной по чистой случайности, – это некое приближение к теме, которая как тема не вполне понятна, потому что не вполне понятно, что такое Швейцария, не Швейцария как государство, как территория, как демографическое образование, как экономическая институция, как этическая парадигма, а как перцептивное пространство, как образ, потому что образ глубоко субъективен, продиктован жизненным, духовным опытом реципиента, а сто реципиентов имеют сто образов, и в этом калейдоскопе взаимоисключаемостей Швейцария как перцептивное пространство никогда не обретет даже мерцательных границ. Впрочем, то, что я говорю сейчас о Швейцарии, в равной степени относится и к любому другому образованию – к Литве, например, или к Польше, Франции... Макс Фриш писал в своем первом дневнике – «Дневнике 1946-1949»: *Вот что важно: неизреченное – пустота между словами, а слова всегда говорят о второстепенном, о чем мы, собственно, и не думаем. Наше истинное желание в лучшем случае поддается лишь описанию, а это дословно означает: писать вокруг да около. Окружать. Давать показания, которые никогда не выражают нашего истинного переживания, остающегося неизреченным; они могут лишь обозначить его границы, максимально близкие и точные, и истинное, неизреченное выступает в лучшем случае в виде напряжения между этими высказываниями* (Фриш, 1987, 129). Макс Фриш говорит о писательстве, но писательство – это воплощение писательского образа мира, писательской рецепции; и в этом смысле неписательская попытка *наткнуться на палец*, как говорил князь Вяземский, что-либо вне нас существующее подобна попытке писателя, скажем, Макса Фриша, которая сводима к тому, чтобы *писать вокруг да около*. Между тем свести к формуле, к сентенции, к парадигме разного рода ареалы, будь то Швейцария, Латвия или Россия, влекут с магической силой, и тогда появляется, например, *святая Русь* или контроверза: *немытая Россия*, или: *да скифы мы, да азиаты мы*. Это говорят о себе русские, что простительно и даже похвально, о себе в сердцах

можно говорить все, что угодно; я не говорю о том, что говорят о России иностранцы; конечно, большое видится на расстоянии, но расстояние столь же часто деформирует зрение, как и близь.

У Ильи Эренбурга есть блистательная книга – «Французские тетради». Заканчивая монолог о французской культуре, Эренбург пишет: *Из французских рек я больше всего люблю Луару. <...> Туристы обычно ездят на Луару, чтобы полюбоваться замками эпохи Возрождения – Шамбор, Шенонсо, Амбуаз, Блуа. <...> Меня Луара привлекает другим – своим течением, то порывистым, то плавным, островками, появляющимися и исчезающими, старыми деревьями на берегах, которые стоят, как часовые, кое-где холмами с голубыми от серы виноградниками, кое-где изумрудными пастбищами с пятнистыми коровами, маленькими городками с извилистыми узкими улицами, с колокольнями, на которых прокричали свои голоса галльские петушки. Луара не судоходна. Она прекрасна, но влюбленные в нее жители Турэни или Анжу смотрят на нее с опаской: эта река внезапно разливается, затопляя островки, села и города. В такие дни она кажется морем, и вдруг она снова уходит под землю, лениво отражая башню или ольху. Она сродни Франции, ее истории, будущему* (Эренбург, 1958, 59). Луара для Эренбурга – это и есть Франция, это символ Франции, но символ, сотканный из мельчайших реальностей, которые продиктованы переживанием французской природы, французской культуры, французской истории. Говоря словами Дю Белле, Луара для Эренбурга – *Франции единственное небо*. Впрочем, *Франции единственное небо* для Дю Белле слагается из трех компонентов: *Моя Луара, мой убогий дом, / И дым над крышей в небе голубом* (перевод И. Эренбурга; Эренбург, 1958, 114). В сущности, триада Дю Белле – это тоже *вокруг да около*, но это *вокруг да около* о Франции говорит гораздо полнее и глубже, чем какая-либо определенность, типа страна *лягушатников* или страна рационалистов, или... т.д. О стране или народе больше, чем многостраничное описание, может сказать какая-либо мелодия, например, флейты или волынки, или орган, или еврейская идишская песенка. Н.М.Карамзин писал: *Говорят, будто в Швейцарии вообще больше едят, нежели в других землях...; в трактирах никогда не подают на стол менее семи или восьми хорошо приготовленных блюд, и потом десерт на четырех или на пяти тарелках»; и «приписывают это действию здешнего острого воздуха* (Карамзин, 1987, 119, 120, 119).

Я много раз был в Израиле, но если бы у меня спросили, что такое Израиль, то в числе 8-10 констант моего Израиля непременно

но были бы: свет Галилеи, потому что восхождение к Галилее в любое время года – это восхождение к свету, погружение в свет, и это свет такой интенсивности, что он представляется Светом Незаходимым; это утро над Иерусалимом, когда сначала на горизонте появляется мерцающая светлая, но четко проведенная горизонтальная полоса, потом она становится бирюзовой, потом яркого света, который стремительно захватывает небо; это маслята в рукотворных сосновых лесах, покрывающих Иудейские горы, под теплым декабрьским дождем – экзотическое свидетельство российской алии.

И все же прежде чем обратиться к Швейцарии, я должен сказать о Советском Союзе. До 1956 г. Советский Союз был абсолютно закрытой страной, страной непроницаемых границ, как нынешняя Северная Корея. Советская идеологическая доктрина рассматривала мир как *двоемирие* гофмановского типа: один из миров был миром абсолютного зла, т.е. неравенства, насилия, агрессии, несвободы, духовного маразма и т.д.; другой мир – с противоположным знаком: свободы, равенства, братства, высокой духовности, всеобщего благоденствия, и это – мир добра; один – мир тьмы, другой – мир света. Не уверен, что поколение, которому сейчас 30, помнит широко бытовавший термин *лагерь*; был социалистический лагерь и был противостоящий ему империалистический лагерь; термин имел военно-идеологический смысл; а еще были пионерские лагеря, лагеря отдыха. Но от всех *лагерей* осталось, пожалуй, единственное коннотационное поле: концентрационный лагерь, архипелаг ГУЛАГ, как сказал Солженицын. Социалистический лагерь – это социум единой идеологии, единого (оптимистического) мироощущения, единой системы ценностей и т.д.; это социум иерархического строя, в котором есть высшая структура – партия, тоже иерархически организованная, и структура низовая – это беспартийные, но практически все беспартийные проходили школу идеологических строевых институций – октябрята, пионеры, комсомольцы. Строевой, военизированный характер социума определял неизбежность униформы – одного типа одежда, обувь, прически и т.д. Когда после 1956 г. молодые люди надели узкие брюки, разноцветные рубашки и ботинки на толстой подошве, да еще в клеточку, отрастили длинные волосы, их окрестили *стилягами* и сделали предметом публичных *порок*. Когда оттепель уже давно захлебнулась, вдруг опомнились и молодых людей за длинные волосы лишили стипендии. Идеология в качестве основной зада-

чи имела создание положительного образа социалистического лагеря, утверждение Советского Союза как родины прогрессивного человечества. Как писал поэт:

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.*

(Лебедев-Кумач 1954, 381-382)

1956 год, начальная веха оттепели, в качестве знака нового времени, преподнес факт исторического масштаба – *проходимость* границы, конечно, весьма и весьма относительную. Первой пробной акцией явилось плавание на теплоходе «Победа» осенью 1956 года представителей творческой интеллигенции – вокруг Европы с заходом в Стамбул, в греческие, итальянские, французские, скандинавские порты, с поездками в Афины, Рим, Париж. С Запада началось движение литературы, художественных выставок, кинофильмов, мод, идей, началось проветривание и обновление советской жизни.

Знаковым событием стал кинофильм Михаила Ромма «Десять дней одного года», вышедший на экраны в 1961 г. Главными героями фильма являются молодые физики Дмитрий Гусев, которого играл Алексей Баталов, и Илья Куликов, которого играл Иннокентий Смоктуновский. Гусев – это тип канонизированного положительного героя, восходящий к Павлу Корчагину, суть которого самоотверженное, самозабвенное служение делу, необходимому стране. Илья Куликов – это тип героя оттепельной эпохи с его иронией, терпимостью, раскованностью. Тем не менее существенно, что авторы фильма пальму первенства отдают Гусеву, побуждая Куликова и всех, в том числе зрителей, склониться перед его героическим самопожертвованием во имя родины.

Важнейшим мифообразом, культурным символом оттепельной эпохи был Эрнест Хемингуэй, его лиро-героическая проза с ее трагическим жизнелюбием, с ее подтекстом, с ее потоком сознания; она стала моделью молодой оттепельной прозы. Проза Хемингуэя воплотилась в его портрете, наличие которого в доме долгое время являлось знаком принадлежности этого дома к оттепели. Хемингуэй с его бородой, с его трубкой, с его свитером грубой вязки, с его сильным и уставшим лицом был символом *естественного* человека. Молодые люди отрастили бороды, стали

пить кальвадос, носить свитеры, курить трубку, ходить из кафе в кафе, произносить речи с подтекстом.

Оттепель рухнула в 1964 г., это вторая ее граница; и сразу же начались заморозки. В декабре лидер московской парторганизации на партийном форуме отреагировал мгновенно: публикация «Одного дня Ивана Денисовича» была грубой идеологической ошибкой. В «Краткой литературной энциклопедии» о погибших в лагерях и застенках стали писать: *умер*. Советский Союз скатывается в борьбу с оттепельным синдромом, с инакомыслием, в непрерывные попытки реанимации сталинщины, в застой, и т.д.

И тогда наступает время Швейцарии. Швейцарию в советском культурном сознании с конца 1960-х годов и до перестройки, т.е. до середины 1980-х годов, представляют Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт; они не оформляются в культурные символы, подобно Хемингуэю, но они достаточно остро выражают постоттепельное мироощущение.

Что же означал для постоттепельного социума швейцарский текст Фриша и Дюрренматта? Это прежде всего переосмысление фундаментальных ценностей жизни, начиная с такой мифологизированной ценности как родина. Надо сказать, что первым и весьма острым импульсом к демифологизации родины были все те же «Французские тетради» Эренбурга, вышедшие в свет в 1958 г. Эренбург процитировал мысль Монтескье, которая явилась предметом необычайно интенсивного переживания и осмысления. Итак, Монтескье: *Нужно быть правдивым во всем, даже в том, что касается родины. Каждый гражданин обязан умереть за свою родину, но никого нельзя обязать лгать во имя родины* (Эренбург, 1958, 10). Слова Монтескье, процитированные Эренбургом, были тем более актуальны, что Советский Союз только что пережил эпоху борьбы с космополитизмом, в пространство которого была включена и компаративистика как инструмент проникновения в Советский Союз космополитического змия. Борьба с космополитизмом означала, в сущности, утверждение великорусского шовинизма в качестве господствующей идеологической доктрины. Оттепель откорректировала, но не отменила сталинскую концепцию, выдвинув идею единой советской нации, советской общности; национальное было слито с идеологическим. Советский Союз – пространство единой нации, нации, объединенной в нацию идеологической советской парадигмой.

Едва ли не все творчество Макса Фриша, но особенно его исповедальные жанры – Дневники, речи, статьи, – это непрерывный поток размышлений о Швейцарии и Швейцарии как родине.

В «Дневнике 1966-1971» Фриш пишет: *В самом деле: иностранцы, живущие в Швейцарии, относятся к ней лучше, чем наш брат. Они воздерживаются от всякой фундаментальной критики; наша же критика им скорее неприятна, они хотели бы быть в стороне от этого. Что, кроме швейцарской банковской тайны, их привлекает? Видимо, все же многое: ландшафты, центральное местоположение в Европе, чистота, стабильность валюты, в меньшей степени – порода людей (тут они при случае выдают себя набором уничтожительных клише), но главным образом своего рода освобождение: здесь достаточно держать в порядке деньги и бумаги и не мечтать о каких-либо изменениях. Если их не беспокоит полиция, Швейцария для иностранца не тема. Они наслаждаются чувством комфорта, которое порождено отсутствием истории (Фриш, 1987, 173). Это – Швейцария глазами иностранцев, и этот образ Швейцарии, фиксируемый Фришем, достаточно широко распространен.*

Но гораздо важнее взгляд изнутри, восприятие Швейцарии – швейцарцем, тем же Фришем. И об этом – один из самых замечательных, самых важных текстов Фриша – его публичная речь, произнесенная в 1974 г. и тогда же напечатанная, – *Швейцария как родина? Речь Фриша – это поток размышлений о том, что есть родина и является ли родиной Швейцария.*

Что же входит в понятие родины? – размышляет Макс Фриш. Место рождения как родина. Ландшафт как родина. Язык, наречие как родина. Есть тезисы и есть контртезисы. *Встречаются люди, которые не говорят на нашем диалекте и тем не менее принадлежат нашей родине...* (Фриш, 1981, 263). Национальная история как родина. Национальная кухня. Друзья. Территория.

Может ли быть родиной идеология?

(Но тогда ее можно было бы выбирать).

И как соотносится все это с любовью к родине? Если ты любишь родину, значит ли это, что она у тебя одна? Я только задаю вопрос. А если она не любит тебя, значит ли это, что у тебя нет родины? Что должен я делать, чтоб обрести родину, и, главное, чего я не должен делать? (Фриш, 1987, 263).

И далее: Потребность в родине несомненна, и, хотя я не могу четко, без оговорок, определить, какой смысл вкладываю в это понятие, я без заминки скажу: у меня есть родина, я не гражданин

мира и я рад, что она у меня есть, – но смогу ли я подтвердить, что это – Швейцария? .

Родину не выбирают.

И все-таки я медлю провозгласить, что моя родина – Швейцария. Ведь каждый, произнося «Швейцария», представляет себе что-то свое. В нашей конституции не записано, у кого есть право определять, что по-швейцарски и что не по-швейцарски (Фриш, 1987, 265).

Наконец, чрезвычайно важные финальные построения Фриша.

РОДИНА:

если родина является округом, где мы, будучи детьми, школьниками, получаем первые впечатления от окружающей среды, природной и социальной, если родина является краем, где мы благодаря неосознанному приспособлению (в юные годы нередко до полной потери себя) поддаемся иллюзии, будто здесь, в этих местах, мы не чужие, тогда родина – это проблема идентичности, дилемма между одиночеством там, где суждено было нам родиться, и потерей себя в силу приспособленчества. Последнее (у подавляющего большинства) требует внутренней компенсации. Чем меньше я в результате приспособления к окружающей среде понимаю, кто я есть на самом деле, тем чаще буду я повторять: я швейцарец, мы швейцарцы, тем больше будет у меня потребность казаться в глазах большинства настоящим швейцарцем. Идентификация себя с большинством, состоящим из тех, кто сумел приспособиться (своего рода компенсация за упущенную или утраченную под давлением окружающей среды идентичность), составляет обычно основу шовинизма. Шовинизм есть прямая противоположность самосознанию личности. Примитивным проявлением страха оказаться вдруг чужим в собственном мире является враждебность к иностранцам, которую так охотно принимают за патриотизм – другое слово, пришедшее с недавних времен в упадок... (266).

...масса приспособившихся не имеет родины, есть лишь государственное учреждение, осененное флагом, оно выдает себя за родину и подкрепляет это военной, и любой другой силой (Фирш, 1987, 266).

Так мог говорить подлинно свободный и подлинно честный человек, так мог говорить истинный патриот, написал и вздрогнул: древнее прекрасное слово действительно пришло в упадок.

И последний фрагмент из Фриша:

Если же я все-таки отважусь связать свою наивную жажду родины с государственной принадлежностью, то есть сказать: Я – ШВЕЙЦАРЕЦ (не просто обладатель швейцарского паспорта,

не просто родившийся на швейцарской территории, но швейцарец по убеждению), тогда я уже в любом случае, произнося слово "родина", не смогу удовлетвориться одной только родной деревушкой и озером Грайфен, дворовыми липами и диалектом, даже Готфридом Келлером; тогда к ощущению родины примешивается еще и стыд, стыд за швейцарскую политику по отношению к политическим беженцам в годы второй мировой войны, стыд за все, что происходит или не происходит у нас в наше время. Я знаю, такое представление о родине не соответствует образцам <...>, но это мое представление. Родину не определяют по чувству комфорта. Кто произносит РОДИНА, тот берет на себя многое (Фриш, 1987, 267).

В «Дневнике 1966-1971» есть замечательный «Опросный лист» о родине, состоящий из 25 пунктов, последний из которых я процитирую: *Из чего Вы заключаете, что звери, например, газели, гиппопотамы, медведи, пингвины, тигры, шимпанзе и т.д., вырастающие в вольерах или заповедниках, не воспринимают зоопарк как родину?* (215).

В том же «Дневнике 1966-1971» одно структурное образование называется *допросом*. Макс Фриш в своих сочинениях действительно *допрашивает* себя, *допрашивает* современников, *допрашивает* свою страну, *допрашивает* родину.

Макс Фриш не отвергает понятие родины, но в противовес мифу о родине как об исконной и абсолютной ценности, не подлежащей осмыслению, он подвергает понятие родины всестороннему анализу, т.е. демифологизации. Фриш против мифа во имя истины и человека.

Урок Макса Фриша был преподан не только Швейцарии, но и Советскому Союзу. И этот урок был воспринят как *швейцарский урок*; *швейцарский текст*, который определял в то время образ Швейцарии. И этот урок о родине распространялся на все мифы.

Швейцарский урок Макса Фриша определил швейцарское томление постоттепельного советского социума.

И второй швейцарский урок Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта, о котором скажу кратко. Оттепель – это внутреннее освобождение человека, путь человека к себе самому, к *идентичности*. Это существенным образом изменяет искусство, в частности, литературу, которая от *соцреалистической* эпохи уходит в пространство я, в пространство такой нематериалистической субстанции, как душа, что на первый план выдвигает лирику. Голос оттепели – голос лирической поэзии. Лирика определяет и струк-

туру оттепельной прозы как прозы *Ich-Erzählung*. Высшая этическая ценность оттепели – это искренность, честность. «Хочу быть честным» – называет Владимир Войнович свою первую повесть, опубликованную в 1962 г., в которой герой, прораб Самохин, в один прекрасный день решает жить не по лжи. Одна из значительнейших метаморфоз оттепели – превращение человека внешнего в человека внутреннего, и знаком и одновременно инструментом этого превращения становится самоирония.

Катастрофа оттепели существенно меняет мироощущение советского социума. Человек, который открыл себя, который захотел жить не по лжи, в котором пробудилось исповедальное начало, говоря словами Фриша, неизбежно утрачивает *идентичность* – во имя неизбежного в условиях тоталитарного режима *приспособления*. Человек надевает маску. Социум застоя – это социум масок, социум беспрецедентного по своему масштабу маскарада, маскарада в 1/6 часть суши. Человек социалистической веры, отказавшийся от нее во имя искренности и честности, становится актером. Один из показателей тотального актерства – массовое вступление в партию. Оттепельная ирония и самоирония трансформируется в цинический скепсис. И одна из драм постсоветского пространства продиктована как раз тем обстоятельством, что в него вступили циники, люди, утратившие лица.

Миф Хемингуэй демонстрировал искренность, но не демонстрировал цинизм; в 1970-ые годы этот миф отошел в прошлое. Проза и драма Фриша и Дюрренматта заполнили хемингуэевскую нишу. В 1970-ые – в первую половину 1980-х годов они выполняли в некотором смысле ту же функцию, которую выполнял анекдот. Анекдот был словом сохраняющейся идентичности в мире приспособления. Фриш и Дюрренматт показывали трансформации человека и социума, вектор этой трансформации; Фриш и Дюрренматт были службой предостережения и одновременно прогноза.

«Номо Faber», выдающийся роман Фриша, – это поток сознания, как и романы Хемингуэя, но это поток сознания человека, утратившего тот комплекс гуманитарно-этического начала, в результате чего он превращается в функционально-технократический биоаппарат, чья производственная и плодотворная деятельность венчается incestом и смертью.

Детективы Дюрренматта в благопристойных и вполне преуспевающих людях обнаруживают преступников, как в попу-

лярной в Советском Союзе повести «Авария»; для несообразительных Дюрренматт даже комментирует: ...Он не преступник, а жертва эпохи, Запада, цивилизации, которая, увы, все больше и больше утрачивает веру (теряющую свою чистоту), христианский дух, общий смысл и переходит в хаос, где человек остается без путеводной звезды; в итоге – смятение, одичание, кулачное право и отсутствие истинной нравственности. Преступнику и одновременно жертве остается одно: сунуть голову в петлю (в оконной нише темным неподвижным силуэтом на тусклом серебре неба, в густом запахе роз, висел Трапс... (Дюрренматт 1990, 237, 240).

В комедии «Физики», шедшей во многих театрах, санаторий с до боли знакомым и нежным названием «Вишневый сад» оборачивается могущественным трестом, который намеревается владеть миром, захватить все страны и континенты, всю Солнечную систему и долететь до туманности Андромеды. О том, на что проецируется эта программа, свидетельствует: а) Туманность Андромеды – популярный роман Ивана Ефремова; б) слова в романе: *Задача решена – не в пользу человечества. А в пользу горбатой старой девы* (Дюрренматт, 1998, V, 147). Доктор Матильда фон Цанд оборачивается сумасшедшей, а здоровые люди, прикинувшиеся сумасшедшими, становятся палачами и убийцами. Такой исход имеет маскарадно-театрализованная реальность.

Наконец, в комедии «Ромул Великий», рассказывающей о последних днях Римской империи, под бюстами государственных деятелей, мыслителей и поэтов, принадлежащих истории Рима – неисчислимо скопище раскудахтавшихся кур, которые летают по сильно загаженной сцене (Дюрренматт, 1998, IV, 8, 30).

И эти швейцарские предупреждения и прогнозы рождали в советском социуме швейцарские томления, как некое мазохистское переживание собственной жизни и собственной истории. Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт – это важнейшие сегменты советского перцептивного пространства, сегменты, во многих отношениях являющиеся знаками Швейцарии.

С тех пор, несмотря на прошедшие годы, Швейцария имеет, по крайней мере для меня, лицо Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта.

ЛИТЕРАТУРА

Дюрренматт Ф., 1990, *Избранное*. Москва: Радуга.

Дюрренматт Ф., 1998, *Собрание сочинений в 5 томах*, тт. 4-5, Харьков: Фолио;

Москва: Прогресс.

Карамзин Н. М., 1987, *Письма русского путешественника*. Ленинград: Наука.

Лебедев-Кумач В., 1954, *Стихи*. - *Русская советская поэзия: Сборник стихов 1917-1952*.

Москва: Художественная литература.

Фриш М. 1987, *Листки из вещевого мешка: Художественная публицистика*. Москва:

Прогресс.

Эренбург И., 1958, *Французские тетради: Заметки и переводы*. Москва: Советский писатель.

Swiss Nostalgias of the Late Ice Age Summary

Mental map always has both large and small topoi (countries, towns, buildings; mountains, deserts, rivers, etc.) and people (scientists, artists, political figures). Ernest Hemingway was the cultural symbol of the *Thaw* for the young generation of the 1950-60s. In the post-thaw period, the reception of Max Frisch and Friedrich Duerenmatt was of special significance in the Soviet Union. They became the major segments of the Soviet space of perception as well as signs of Switzerland.

Object: Switzerland and the *post-thaw* awareness.

Aim: Switzerland on the mental map of Russian intelligentsia in the 1960-70s.

Method: mental-comparative analysis.

Key words: *Frisch, Duerenmatt, Hemingway, Erenburg, the Loire, lesson, thaw, hens.*